



## Далёкое – близкое



### АРКАДИЙ ВАКСБЕРГ

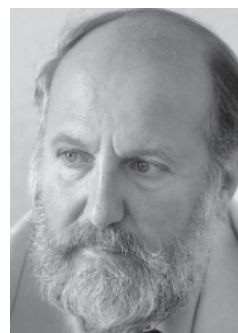
Прозаик, драматург, эссеист, историк, юрист

Начал печататься как журналист и литератор, будучи аспирантом научно-исследовательского юридического института. Автор трёх монографий по авторскому праву. С 1959 года публикуется в «Литературной газете», с 1973 — в штате редакции, ныне её собкор во Франции. Печатавшиеся в «ЛГ» на протяжении четверти века его судебные очерки имели огромную популярность. Ему принадлежат более сорока книг, написанных в разных жанрах («Не продаётся вдохновенье», «Белые пятна», «Опасная зона», «Нераскрытые тайны», «Царица доказательств», «Валькирия революции», «Гибель Буревестника», «Из ада в рай и обратно», «Пожар сердца. Кого любила Лиля Брик?», «Любовь и коварство. Театральный детектив», «Плешь Ильича», мемуарный двухтомник «Моя жизнь в жизни» и другие). Многие его произведения переведены на все основные языки мира. Некоторые книги («Советская мафия», «Гостиница Люкс», «Господа и лакеи», «Лаборатория ядов») опубликованы только в иностранных переводах. Основатель и бессменный (с 1989 г.) вице-президент Русского ПЕН-центра.

### РЕНЭ ГЕРРА

Коллекционер-исследователь

Доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка и литературы в государственном университете города Ницца. Президент Ассоциации по сохранению русского культурного наследия во Франции. Окончив Сорбонну, несколько лет был секретарём писателя Бориса Зайцева. Печатался в «Новом журнале» (Нью-Йорк), «Континенте» (Париж). С 1992 года публикуется в российских газетах и журналах. Автор трёх книг, изданных в России («Жаль русский народ», «Они унесли с собой Россию...», «Младшее поколение писателей русского зарубежья») и свыше двухсот пятидесяти научных и публицистических работ по культуре (литературе и искусству) русского рассеяния. Президент Ассоциации по сохранению русского культурного наследия во Франции.



## ДЕНЬ ПЯТЫЙ

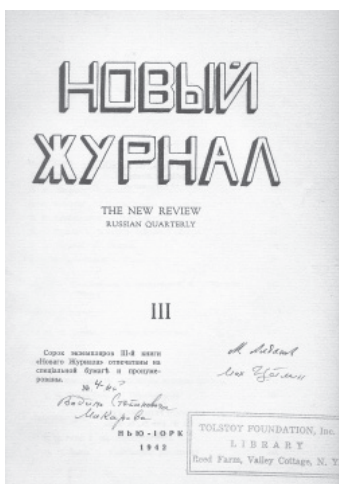
### Из будущей книги «СЕМЬ ДНЕЙ В МАРТЕ. БЕСЕДЫ ОБ ЭМИГРАЦИИ»

#### *Глава из рукописи*

*А. Ваксберг.* ...Военные годы — драма не только для всего человечества, но и для русской эмиграции в частности. Можно ли считать, что эмигрантский период первой волны чётко делится на две неравные половины: до начала Второй мировой войны и после? Во всяком случае, такая периодизация явно присутствует и во многих позднейших исследованиях, и особенно в мемуарной литературе самих эмигрантов. Если это так, то мы, пожалуй, встречаемся с уникальным историческим явлением: с возможностью датировать прекращение целой эпохи с точностью чуть ли не до часа.

*Р. Герра.* Действительно, Вторая мировая война оказалась во многом роковым рубежом для «первой волны». Период её расцвета — это, безусловно, двадцатые и тридцатые годы, это эпоха блистательного Монпарнаса и его «парижской ноты». Жизнь эмиграции в эти годы была исключительно насыщенной творчески, она, если пользоваться штампами, буквально кипела: литературные встречи, вечера, балы, доклады, дискуссии, выставки... Истинный расцвет, который большевистская пропаганда называла загниванием и удушьем. Большинство эмигрантов ещё не знало особой нужды, — скромная, подчас очень скромная, но всё же достойная жизнь, которую, особенно в сравнении с тем, что случилось позже, ещё нельзя было назвать бедствием. Творческую жизнь не отесняли заботы о быте. Неумолимое приближение мировой войны окрасило жизнь русской эмиграции тревожным ожиданием катастрофы. На первый план выходят политические споры о позиции, которую должна занять эмиграция. И под всем этим начавшаяся война подвела черту. Год 1940 — рубеж и испытание для русской эмиграции, перед которой встал вопрос: с кем быть? Размежевание произошло и во время немецкой оккупации, и после Освобождения.

*А. Ваксберг.* Вопрос о реакции эмигрантов на вступление Франции в мировую войну мне кажется не просто острейшим, но и плохо изученным, несмотря на обилие мемуарных источников и исследовательских работ. Куда более отчётливым представляется отношение — тоже очень различное — к гитлеровскому нападению на Советский Союз. Но это уже июнь 1941. А в тридцать девятом — объективно так получалось — Франция оказалась жертвой экспансионистских планов той страны, союзником которой стала, особенно после 28 сентября, советская Россия. Конечно, союзником, — кем же ещё, раз заключён договор о дружбе, скреплённой, по словам Сталина, кровью, и совместными усилиями кромсается Польша? Не рационально, нет, — скорее эмоционально, — многие эмигранты должны были воспринимать это событие как новый виток большевистской угрозы самому их существованию. Есть ли какие-либо признаки того, что такие настроения существовали?



*Р. Герра.* Не думаю, что вы правы. Нет никаких признаков того, что русские эмигранты восприняли договор о дружбе с Германией как новую большевистскую угрозу самому их существованию. Подчёркиваю: их существованию! Конечно, немецкая оккупация Франции трагически сказалась

на эмиграции. Прежняя жизнь закончилась, — мало кто был психологически к этому подготовлен. Многие (М. В. Вишняк, Н. Д. Авксентьев, Г. П. Федотов, М. Л. Слоним, В. С. Яновский, С. Ю. Прегель...) уехали за океан, где в Нью-Йорке М. Алданов и М. Цетлин смогли создать «Новый журнал», чтобы продолжить лучшие традиции довоенных «Современных записок». Мне кажется, что для эмиграции июнь сорок первого года, то есть гитлеровская

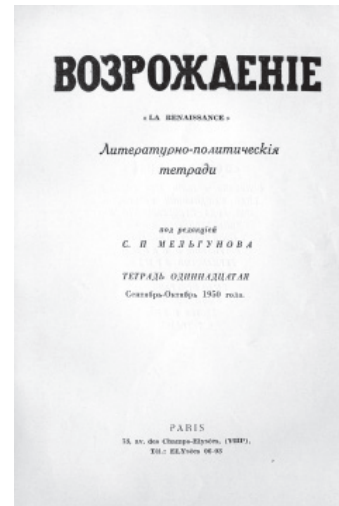
агрессия в отношении Советского Союза, дата гораздо более важная, чем август-сентябрь тридцать девятого вместе с советско-германскими договорами. Не забудьте: русские жили во Франции с нансеновскими паспортами, то есть, если изъясняться без политкорректности, были людьми бесправными. Нападение гитлеровской Германии на советскую Россию сделало их положение, если можно так выразиться, более комфортным, поскольку Германия превратилась в общего противника. Противника и Франции, и страны, которая была родиной русских изгнанников.

*А. Ваксберг.* Принимаю ваши возражения как данность, но поставленный мною вопрос — для меня, по крайней мере, — остаётся открытым. Неужели русская эмиграция была до такой степени проницательной и прозорливой, что сразу восприняла германо-советский союз как нечто временное, непродолжительное? Раздел мира, или точнее — раздел Европы, между двумя диктаторскими режимами должен был восприниматься как реальность, а не видимость. Разве оккупация Франции страной-союзницей Кремля (договор о дружбе — ведь это союз, подкреплённый отнюдь не декоративным разделом Польши, поглощением Бессарабии, Прибалтики) — разве такая оккупация не таила в себе возможности выдачи новому другу Германии его заклятых врагов? Было бы странно, по-моему, если бы такой вопрос у эмигрантов не возникал. А он, судя по вашим словам, не возникал.

*Р. Герра.* Во всяком случае, никаких свидетельств на этот счёт мы не имеем. Не только в мемуарах, но и в переписке.

*А. Ваксберг.* Значит, повторяю, не остаётся ничего другого, как принять этот факт в виде данности. Хорошо, пойдём дальше. О расслоении эмиграции после гитлеровского нападения на Советы достаточно известно, и всё же нам не обойти этой темы. Много написано о французских «резистансах» русского происхождения — Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, в монашестве мать Мария, об отце Дмитрие Клепинине, Вики Оболенской, Борисе Вильде, Анатолии Левицком, Владимире Варшавском, Вадиме Андрееве, Владимире Сосинском, Николае Рощине и других, увы, очень немногочисленных.

*Р. Герра.* Вспоминаю слова моего покойного друга, писателя В. С. Варшавского: большинство эмигрантских сыновей, вступивших во французскую армию, верили, что, служа Франции, ставшей их второй родиной, в то же время «служат чести русского имени». Ещё один мой друг, князь Н. Н. Оболенский, собрал материалы о русских по происхождению солдатах французской армии, убитых на войне, — многие из них посмертно были награждены орденами и отмечены в приказах по армии. В общем-то, конечно, единицы, но нельзя забывать, что, например, Гайто Газданов с женой Фаиной Дмитриевной Ламзаки стали участниками Сопротивле-



ния. Газданов написал об этом книгу «На французской земле», изданную во Франции в 1947 году под названием «Je m'engage defendre» («Обязуюсь защищать»).

*А. Ваксберг.* И всё же единицы... Потому, наверно, об этих единицах мы и знаем, потому и воздаём им должное. Но гораздо меньше знаем о тех, кого к резистансам не причисляют, что, быть может, не совсем справедливо. Или всё-таки справедливо? Я имею в виду тех, кто решил поддержать Францию в борьбе против «общего врага», — таких, как Г. В. Адамович, В. С. Варшавский, Н. А. Оцуп, К. А. Терешкович, Я. Н. Горбов, тот же князь Н. Н. Оболенский. Насколько я понимаю, их позиция расходилась с мнением, которое однозначно и категорично высказал генерал Витковский, один из руководителей РОВС — Русского Обще-Воинского Союза. Когда демократическая общественность призвала его мобилизовать русское офицерство во французскую армию, он ответил: «Русская кровь может быть пролита только за русское дело».

*Р. Герра.* Вопрос опять-таки в дефинициях. Какое «дело» в данном случае следовало признать русским? Отпор нацизму? Поддержка нацизма? Нейтралитет? В этом ключевом вопросе мнения как раз и расходились.

*А. Ваксберг.* Судя по скромному вашему перечню, готовых именно делом, а не только словом, поддержать французскую армию среди эмигрантов было не так уж много. А какой же тогда позиции придерживалось большинство?

*Р. Герра.* Под Парижем, на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, стоит памятник воинам-эмигрантам, павшим в рядах французской армии, и тем, кто погиб в Соппротивлении. Изданный мартиролог насчитывает 238 русских, погибших за годы Второй мировой войны, но на самом деле список, безусловно, неполный. Большинство же придерживались той позиции, что и большинство коренных французов: сидели и выжидали. «Странная война», широко распространённый конформизм, петэновский режим во всех его проявлениях — всё это горькая, трагичная, во многом постыдная страница французской истории. И эмигранты причастны к ней — каждый по-разному, разумеется, — в такой же степени, как и французы. Здесь очень важно не упростить ту сложную, противоречивую ситуацию, в которой оказались русские, нашедшие здесь приют и вынужденные разделить судьбу чужой им, в сущности, страны. Сотрудничать с нацистскими оккупантами, то есть с врагами страны, которая их приютила, — это было вообще немислимо, даже если кто-то и помышлял. Но у французских властей была другая логика, их тоже можно понять. Французская полиция идеологией не занималась. Её логика простейшая, можно даже сказать, примитивная: русский — значит, из той страны, которая дружит сегодня с Гитлером. Отсюда эти аресты, интернирование, заключение в лагерь, правда, ненадолго, всего лишь на несколько дней, отсюда отношение практически ко всей эмигрантской массе как к лицам подозрительным и опасным. О таких тонкостях, как дифференциация, как индивидуальный подход, и речи быть не могло: не до этого! Но после 22 июня сорок первого года всё стало иным.

*А. Ваксберг.* Это связано, наверно, не только с самим фактом гитлеровской агрессии, но и с отношением к ней. Точнее, с тем, как она может сказаться на судьбе России. Вот уж в этом вопросе вряд ли стоило ждать от эмигрантов позиции наблюдателя, отошедшего в сторону и выжидающего, чья возьмёт. Даже не имея возможности как-то лично вмешаться в «драку», каждый неизбежно должен был сам для себя решить, с кем он, за кого переживает, чьей победе радуется, какого конечного итога ждёт. Разумеется, назвать несчастье, постигшее их родину, какой-то лакмусовой бумажкой, которая проявила подлинность патриотизма каждого эмигранта, это даже и не кощунственно, а просто нелепо, но всё же, всё же... Ясно ведь, что с войной — любой войной вообще, а с этой конкретной тем более, — каждый связывал и своё будущее. Примерял её, так сказать, на себя.

*Р. Герра.* Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что июнь сорок первого года действительно внёс определённый раскол в эмиграцию. Мы уже много раз говорили, что расхождения во взглядах, подчас очень значительные, существовали всегда, но раскола не было. И вот он произошёл, не изнутри, а волею обстоятельств. Навязанный извне. Речь не шла о симпатиях или антипатиях к нацизму, речь шла о том, что может германская агрессия принести России: свободу или новое порабощение? Другое, не большевистское, но всё-таки порабощение. Свою главную цель — цель всей своей жизни — эмигранты видели в освобождении России от большевизма. Казавшаяся поначалу чуть ли не реальной и скорой победа Германии в этой войне вроде бы полностью отвечала вожденной мечте всех без исключения эмигрантов. Не тут-то было!.. Сразу же встал вопрос о цене. Приемлемо ли низвержение большевизма в России любой ценой, даже такой страшной, как потеря независимости, рабство, положение оккупированной страны? Или всё-таки большевизм, отстаивающий в этой войне самостоятельность России, отвергающий иноземное рабство, более приемлем, чем сотрудничество с оккупантами. Даже просто чем симпатия к ним. Это была задача, где любой ответ относился к категории «оба хуже». То есть выбирать надо было эмигрантам между плохим и плохим. Для большинства ответ был тем не менее однозначен: родина, её независимость, превыше всего. Для большинства, и всё-таки не для всех.

*А. Ваксберг.* Давайте вспомним какие-то персоналии. Это поможет лучше разобраться в том выборе, который каждый делал сам для себя.

*Р. Герра.* Если говорить о персоналиях, то надо, применительно к каждому, не забывать о его личной судьбе, о том, что к началу войны осталось у каждого за плечами. Вот, скажем, Шмелёв, никогда не был за нацистов, но мог ли он забыть гибель единственного сына, погибшего в Крыму от рук палачей Бель Куна и свирепой Землячки? Он, автор потрясающей книги о красном терроре в Крыму, ненавидел большевиков, но это вовсе не значит автоматически, что он был за немцев. Просто надеялся, что те помогут покончить с большевизмом. Ему ставят в вину, что он заказал панихиду в кафедральном соборе по убиенному сыну. Но ведь панихида по сыну не есть здравица в честь оккупантов! Если бы это было так, вряд ли



бы новая российская власть стала ему воздавать посмертные почести, перенесла его прах в Москву, издавала бы огромными тиражами. А он долгое время числился чуть ли не коллаборантом. С этими ярлыками надо быть поосторожнее.

*А. Ваксберг.* Ну, почему же «чуть ли», Ренэ? Может быть, Бунину всё же лучше знать?..

*Р. Герра.* Намёк понял. Да, в одном из писем Бунина к Зайцеву, от 15 января сорок восьмого года, Шмелёву даётся такая характеристика: «участник парижских молебнов о даровании победы Гитлеру». И он же — в очерке «К моим воспоминаниям», опубликованном в «Новом Русском Слове» 17 мая 1953 года: «Шмелёв, такой горячий поклонник Гитлера, что даже отслужил однажды благодарственный молебен в Париже по случаю захвата Гитлером Севастополя». Сведения расходятся: то ли молебен в память об убиенном сыне, то ли по случаю захвата Севастополя. Всё равно молебен, факт налицо...

Некоторые почитатели Шмелёва в России (а я, хоть и не в России, тоже восторженный его почитатель) слишком напористо пытались его «обелить» — не подберу другого слова, — предпочитая затушевать в его биографии всё, что хоть как-то бросало на него тень. Особенно поусердствовали в этом и такой учёный, как академик Г. М. Бонгард-Левин, и такой деятель культуры, как Никита Михалков. А зачем? Из песни слова не выкинешь... Как и любого значительного человека, Шмелёва надо принимать таким, каким он был, со всеми его противоречиями, страданиями и метаниями. Для меня этот молебен, то есть обращение к церкви, а не к властям, если о чём и говорит, то о его страдании, а не о симпатии к нацистам.

По большому счёту никто из писателей старшего, а тем более младшего поколения, не был за победу Германии. Никто из них не мог её считать благом для России, тем более после Сталинградской битвы и крушения вермахта в феврале сорок третьего года. Тем не менее, худо-бедно им надо было как-то выжить под немецкой оккупацией. Все здравомыслящие литераторы понимали, что фашисты являются в данный момент врагом номер один для России. Фашисты, а не большевики. Этому блестящие примеры такие непримиримые антикоммунисты, как Зайцев и Бунин.

*А. Ваксберг.* Пример Шмелёва в вашей интерпретации убедителен, но есть ведь и другие персоналии, чьё поведение во время оккупации вызывало серьёзные нарекания.

*Р. Герра.* Есть. Скажем, ни Нина Берберова, ни Зинаида Серебрякова ни нацистами, ни пронацистами не были, но в то же время не скрывали своих надежд на пресловутый немецкий «орднунг» (порядок), который может послужить лишённой порядка России. Берберова прямо пишет об этом Бунину, который был поражён такими настроениями и высказываниями писательницы, — он очень хорошо к ней относился, а она сама до войны причисляла себя к бунинским ученикам. Тут опять-таки не всё просто. Вот два прямо противоположных суждения. Точнее — свидетельства.

Первое принадлежит Роману Гулю, он выразил его в рецензии на английское издание книги Берберовой «Курсив мой»: «Бунин не любил её

как человека из-за свойственной ей злобности. Бунину, в частности, принадлежит двустишие, написанное им в 1947 году в Париже, когда Берберова сотрудничала в газете „Русская мысль“: „В Русской мысли стервы вой/ Сохрани меня Бог от Берберовой“ /.../ Во время оккупации Франции Гитлером Берберова осталась в Париже (и под Парижем), написала, в частности, тогда стихотворение о Гитлере, в котором сравнивала его с шекспировскими героями. К сожалению, стихотворение это до сих пор не опубликовано. А жаль, ибо — тематически — оно оказалось бы единственным в русской литературе. Из зоны оккупации г-жа Б. звала уехавших в свободную зону писателей Бунина, Адамовича, Руднева и других вернуться под немцев, потому что „наконец-то свободно дышится“ и т. д. Жившее тогда у Бунина лицо — видимо, имеется в виду Бахрах — пишет: „Помню, это письмо Берберовой Иван Алексеевич прочёл вслух за обедом“. Кроме того, Берберова знает, что у одного писателя есть письмо Бунина, в котором он, говоря о лицах, настроенных во время войны прогитлеровски, пишет: „А разве Берберова не была его, Гитлера, поклонницей?“

Но вот другое суждение, прямо противоположное. Зайцев писал Бунину 14 января сорок пятого года: «Яков Борисович (Полонский) занимается травлей Нины Берберовой. Эта уж нигде у немцев не писала, ни с какими немцами не водилась, на собраниях никаких не выступала и в Союзе сургучёвско-жеребковском не состояла. Тем не менее, он написал в Объединение писателей, что она „работала на немецкую пропаганду“! Ты понимаешь, чем это пахнет по нынешним временам? Очень противно. Мы жизнь Нины знаем близко. Решительно никаким „сотрудничеством“, даже в косвенной форме, она не занималась, а по горячности характера высказывала иногда „еретические“ мнения (нравились сила, дисциплина, мужество), предпочитала русских евреям и русские интересы ставила выше еврейских. Когда же евреев стали так гнусно мочить, сама же им помогала, как и мы все, как умела. Одно сделала глупо: написала что-то неосторожное Адамовичу. Этот, очевидно, за неимением лучшего дела, стал раззванивать всюду, и чепуха эта добралась даже до Америки».

Кому из этих очевидцев верить? Какое суждение предпочесть? Или — скорее всего — оба правы?..

*А. Ваксберг.* Что я на это скажу? Бедная, бедная эмиграция...

*Р. Герра.* Но ведь в экстремальных ситуациях люди не всегда совершают безусловно правильные поступки, срываются, горячатся, как пишет Зайцев. И такие настроения были не только у Берберовой. О схожих настроениях Зинаиды Серебряковой, которые, наверно, тоже многих удивят, мне рассказывали очень хорошо её знавшие, ещё по Петербургу, Дмитрий Бушен и Сергей Эрнст. Но никто из здравомыслящих людей не назовет коллаборантами ни Берберову, ни Серебрякову. Просто та экстремальная ситуация, в которой оказались эмигранты в связи с нападением нацистской Германии на их родину, неизбежно вызвала эмоциональную реакцию, которая не могла быть одинаковой у каждого. Всё-таки это были яркие индивидуальности, а не безликая масса.

*А. Ваксберг.* Мне не хочется закрывать эту тему. Напомню хотя бы о такой паре, как Мережковский и Гиппиус...

*Р. Герра.* В данном контексте их нельзя рассматривать как единое целое. Симпатии Мережковского к Муссолини были общеизвестны, он никогда не скрывал их, но Муссолини это всё-таки не Гитлер, тем более, если речь идёт об оккупации России. А Гиппиус, та вообще далеко не во всём разделяла симпатии мужа и уж во всяком случае не была пронацисткой.

Если вас интересует эта очень непростая, очень драматичная страница истории эмиграции, то имеет смысл назвать другое имя: знаменитый драматург и режиссёр Николай Евреинов. Тут — сплошные загадки. Евреинов всем известный масон, а как относились нацисты к масонам, напоминать, думаю, не надо. Однако, как говорится, с его головы не упал даже волос, он развил бурную творческую жизнь под оккупацией, и никто ему это потом не поставил в вину. Более того, активно защищал после войны коллаборационистов, вёл теснейшую дружбу с такими откровенными и безусловными коллаборантами, как С. М. Лифарь и Н. Д. Янчевский, и это тоже никак не отразилось ни на его судьбе, ни на его репутации. Для меня тут сплошь вопросительные знаки, сюжет заслуживает специального изучения.

*А. Ваксберг.* Боюсь, таких загадок вы насчитаете немало...

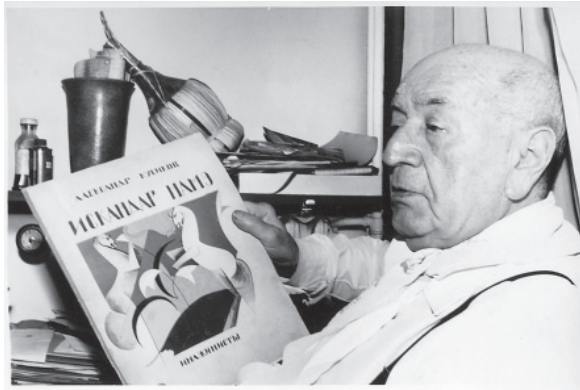
*Р. Герра.* Притом не только таких, но, пожалуй, даже похлеще. Самая большая из них — поистине сенсационный поворот на все сто семьдесят градусов, которые осуществили некоторые несомненные коллаборанты. Вот, скажем, известный некогда поэт-имажинист Александр Кусиков, друг Есенина, сначала пылкий революционер, потом пылкий эмигрант. Мой друг, художник Андреевко, рассказывал мне, что Кусиков очень активно сотрудничал с гестаповцами в пятнадцатом округе Парижа, работал в немецкой комендатуре, а потом, когда круто всё повернулось, стал «урапатриотом», взял советский паспорт, но на родину не вернулся, то есть вёл себя в точном соответствии с замыслом тех, кто задумал эту кампанию возвращенчества, к которой, я надеюсь, мы с вами вернёмся. Жил себе припеваючи, процветая в роли жиголо, на деньги очарованных им пожилых дам. В 1969 году он сам зачем-то разыскал меня — захотел познакомиться. Я как-то не соотнёс даты, решил сначала, что это сын того Кусикова. Оказалось — он сам. Разговаривать было не о чем. Обменялись любезностями — и всё! Зачем я был ему нужен, так и не понял. Вскоре он умер.

Ещё один примечательный пример — Лев Любимов, известный в эмиграции журналист, потом коллаборант, автор пресловутого «Парижского вестника» — пронацистской газетки. И вдруг — крутой поворот: Любимов выплывает в Москве как автор воспоминаний «На чужбине», выпущенных в шестьдесят третьем году издательством «Советский писатель». Там он страстно «разоблачает» гнилую эмиграцию, находя для неё в своём словаре только оскорбительные эпитеты. Выслуживается сверх всякой меры. Того, кто возьмётся исследовать такие загадочные парадоксы, ждёт большой материал.

*А. Ваксберг.* Вы упомянули «Парижский вестник» — самое время коснуться этой темы. Изучая различные источники, я пришёл к выводу — правильному или неправильному, это судить вам, — что внезапное исчезнове-



ние русской прессы произвело очень тяжёлое впечатление на эмиграцию. Попутно — вопрос: почему русская пресса прекратила своё существование, как только вермахт вошёл в Париж? Разве была опасность расправы, которую могут учинить эмигрантам вошедшие в Париж друзья Кремля? Или была другая причина? Так или иначе, вдруг рухнула ось, на которой держалось общение русской диаспоры. Похоже, русские эмигранты вообще не читали французскую периодику. Уж, наверно, не потому, что не знали французский язык. Просто эта периодика никак не затрагивала их интересы, не отвечала на вопросы, которые их волновали. Они остались без связующего звена, которое их всех объединяло, несмотря на различие во взглядах, позициях или оценках. Исчезла опора, которая делала их общностью, а не какой-то совокупностью индивидуальностей. Так ли это?



Александр Кусиков

*Р. Герра.* С чего вы взяли, что русские не читали французскую периодику? Я имею совершенно другие данные: читали, притом и до, и после войны. И во время войны, наверно, тоже. Но популярность русской прессы, по понятным причинам, была особенно велика. Русские читали или «Возрождение», или «Последние новости», а то и обе газеты. Оттуда они брали исчерпывающую информацию о том, что происходит в русском Париже. И не только в Париже... Так длилось до начала июня сорокового года, то есть до вступления немцев во французскую столицу. Исчезло, как вы говорите, важное связующее звено. Да, исчезло, и долго такое положение продолжаться не могло. Эту задачу, с вполне определённой идеологической ориентацией, взяло на себя так называемое Управление делами русской эмиграции во Франции. Её шеф, «гауляйтер» Ю. С. Жеребков, танцовщик из группы «Русский балет», — его имя упоминает Зайцев в процитированном мною письме к Бунину, — создал профашистский печатный орган Управления, еженедельную газету «Парижский вестник», которая выходила с 14 июня 1942 года до 12 августа 1944. Всего вышло 112 номеров. За две недели до освобождения Парижа этот еженедельник приказал долго жить, а «гауляйтер», спасаясь от виселицы, сбежал в Испанию.

*А. Ваксберг.* У меня создалось впечатление, что сотрудничество с «Парижским вестником» имело для тех, кто на это решился, гораздо более серьёзные последствия, чем творческая связь в довоенные годы с тем или иным изданием, позиция которого противоречила взглядам определённой эмигрантской среды. Авторы «Возрождения» не становились же изгоями в глазах тех, для кого позиция этой газеты была в принципе чужда, пусть даже враждебна. Непримируемость идейная не приводила автомати-

чески к непримиримости личной — вы очень чётко обозначили этот феномен, эту реальную, а не декларативную, толерантность. Но сотрудничество с изданием Жеребкова ставило крест и на личности, не правда ли? Справедлив ли такой нравственный максимализм? Между тем, это вид-



но прямо или косвенно из многих неоспоримых свидетельств, читали «Парижский вестник» многие. Даже те, кто на дух не выносил эту газетку. Наверно, потому, что, пусть и в такой извращённой форме, но это всё же была какая-то связь раскиданных по Европе, потерявших былые контакты людей. Как и откровенно пронацистская газетёнка В. М. Деспотули «Новое слово», издававшаяся в Берлине с июля 1933 по

июль 1944 (всего 600 номеров), — она хотя бы помогала потерявшимся людям найти друг друга с помощью тысяч объявлений о розыске, которые там печатались. Есть, например, совершенно достоверные сведения о том, что её читали Зайцев, Георгий Иванов и многие другие эмигранты, притом и эмигранты с безупречной нравственной репутацией. Не будь этой газеты, к примеру, совсем затерялся бы депортированный в Германию из Царского Села виднейший литературный критик Иванов-Разумник. А благодаря публикации в газетёнке Деспотули его нашли Зайцев в Париже, Георгий Иванов в Биаррице, нашли многие коллеги из числа русской профессуры в Праге и других городов Европы. В связи с этим у меня вопрос: как отразилось сотрудничество с «Парижским вестником» на судьбе таких его авторов, как Илья Сургучёв, Иван Шмелёв и других, чьи имена вы, наверно, назовёте?

*Р. Герра.* Да, действительно, сотрудничество не только Шмелёва и Сургучёва, но также драматургов Н. Евреинова и А. Ренникова, поэтов В. Горянского, Г. Евангулова, Н. Туроверова, философа Г. Мейера, а также А. Бенуа и С. Лифаря с этим профашистским изданием имело для них весьма неприятные последствия после освобождения Франции. Знаю со слов незабвенного Бориса Константиновича Зайцева, что он отговорил А. М. Ремизова от сотрудничества с этой газетой. Совсем недавно, 29 июня 2006 года, на парижском аукционе я купил архив балетного критика Н. Д. Янчевского, и в нём оказалось письмо Ремизова с выражением своей готовности к сотрудничеству (см. приложения). Но, по счастью, сотрудничество не состоялось. Лучше, чем я, скажет об этой драматической ситуации цитата из книги Николая Евреинова «Памятник мимолётному» (Париж, 1953): «Главное опустошение в рядах талантливой братии, работавшей в Париже, война внесла при своём окончании, не в прямом смыс-

ле, а в косвенном. Обвинённые по доносам в „сотрудничестве с немцами“, наши щедрые меценаты — Павел Альб. Юршевич, Гр. Гр. Беридзе и такой высоко-просвещённый покровитель сценического искусства, как всемирно прославившийся Сергей Лифарь, были, вместе с другими „товарищами по несчастью“ (драматургом Ильей Сургучёвым, Н. Д. Янчевским и некоторыми другими), посажены в тюрьму или просто изъяты из театральной работы во Франции и тем самым, как бы, „ошельмованы“ в глазах их почитателей».

Вот ещё один пример. Бальмонт во время оккупации поселился в русском общежитии в Нуази-ле-Гран, устроенном матерью Марией. Немцы относились к нему совершенно безразлично, а русские — профашистского толка — попрекали его за прежние революционные убеждения. Он умер 26 декабря 1942 года, и на похоронах практически не было никого, потому что «Парижский вестник» опубликовал информацию о смерти уже после погребения: в предновогодние дни газета какое-то время не выходила. Эти похороны, кстати, замечу, можно без преувеличения назвать кошмаром. Шёл проливной дождь. Гроб опустили в яму, заполненную водой, и он всплыл, пришлось его удерживать шестом, пока могилу не засыпали землёй, как мне рассказывал присутствовавший на похоронах Борис Зайцев. С Мережковским, который умер годом раньше, 7 декабря 1941 года, было всё же лучше, если такое слово сюда вообще приложимо. О смерти номинанта на Нобелевскую премию всё-таки сообщила французская газета «Пари-суар». Крохотная заметка была замечена, и на отпевание в собор на улице Дарю пришло человек сорок. Служил митрополит Евлогий — при пустой церкви. На кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа вообще никто не поехал. Но это так, к слову...

*А. Ваксберг.* Мы, в сущности, уже незаметно добрались до трагических военных годов. Точнее, их правильнее назвать не столько военными, сколько годами оккупации, годами вишистской, петэновской Франции. Известно, что многие русские уехали в Америку, вовремя разобравшись в том, что для каждого из них несёт с собой, или может принести, нацизм. Другие перебрались в неоккупированную зону, где до поры до времени вроде бы было чуть полегче, это мы знаем из многих свидетельств, хотя бы из того же «Грасского дневника», из воспоминаний Бахраха и других. Но немало и тех, которые остались в том же Париже.

Жизнь человека творческого труда — нет, шире, человека из мира культуры — под ярмом оккупантов, — эта тема меня очень интересует. Я не случайно уточнил: человека из мира культуры. Ибо веду речь не о бытовых проблемах — эти невзгоды равно мучительны для любого, какой бы ни была его профессия. А вот люди культуры... Как им живётся? Как им положено жить, чтобы не запятнать себя, не продаться, но и не лишиться той профессии, которая у них есть, тем более, что творчество — это же не только способ добывания средств к существованию, но и потребность в самовыражении. Я вплотную столкнулся с этой жгучей и горькой проблемой, когда писал одну книгу, где были главы о жизни режиссёров и артистов, оказавшихся на оккупированной территории Советского Союза. Отсюда вопрос: как жили в Париже в те годы русские писатели, художники, артисты? Издава-

лись ли, выставлялись ли, работали на сцене? Или затаились в своих жилищах и жили непонятно на какие деньги?

*Р. Герра.* Конечно, русская литературно-художественная жизнь сильно сократилась, но, тем не менее, продолжалась. В частности, почти сразу возобновились спектакли Русской Оперы князя Церетели, Русского Балета в Париже в зале Плейель (директор Е. Н. Арцюк, художественный руководитель Б. Князев). Молодой Русский Балет уже 10 августа 1940 года открыл свой осенний сезон с разрешения оккупационных властей. А Российское Музыкальное Общество за границей (председатель Н. Ф. Алексинская) 1 декабря 1940 года организовало торжественный спектакль памяти П. И. Чайковского, показав оперу «Пиковая дама» в постановке Ю. Анненкова в сотрудничестве с композитором А. Н. Черепниным. Кроме спектаклей русского драматического театра Ксении Питовой (июль-сентябрь 1941; октябрь-декабрь 1942; январь-июль 1943), с января 1943 года шли также спектакли «Театра без занавеса», созданного обретшим второе дыхание Ильей Сургучёвым, в репертуаре которого были не только его пьесы, прежде всего, конечно, его «Осенние скрипки», не утратившие своего художественного значения и по сей день, но и различные водевили, скетчи, миниатюры, оперетты. В некоторых спектаклях участвовал и он сам в качестве артиста. Спектакли продолжались до апреля 1944 года. 23 октября 1943 года открылся «Театр русской драмы» — пьесой «Своя семья, или Замужняя невеста» по комедии А. С. Грибоедова, постановка Н. Н. Евреинова, декорации Р. М. Добужинского, а 4–5 декабря 1943 шла пьеса Н. Н. Евреинова «Самое главное». В начале января следующего года в качестве режиссёра и актрисы представила блистательная Е. Н. Рощина-Инсарова, родная сестра знаменитой примы Малого театра Веры Пашенной. В том же зале Плейель в мае-июне сорок третьего зрителям показали «Евгения Онегина» и «Пиковую даму»,

а также «Женитьбу» Гоголя, костюмы и декорации к которым создал Юрий Анненков. Давались концерты А. Черепнина, певицы М. Давыдовой, пианистки И. Энери...

*А. Ваксберг.* Добавлю то, что сохранилось в моих записях по рассказам кинокритика Веры Вольман, она была замужем за известным актёром Григорием Хмара, тоже эмигрантом, и Льва Адольфовича Аронсо-



И. Энери

на, которого все знают под его популярным псевдонимом «Доминик», — он был театральным критиком и учредителем знаменитого ресторана того же названия, где мы с ним встречались. Ставили Островского («Последнюю жертву»), Тургенева, Гоголя, устраивались литературные вечера, где чаще



всего с чтением стихов и прозы выступали жившие в Париже бывшие актеры Художественного театра Вера Греч и Поликарп Павлов — оставшиеся за границей члены так называемой «качаловской группы», самовольно гастролировавшей по Европе в начале двадцатых годов. Лев Адольфович не был уверен в датировке — боялся, что подводит память, — но допускал, что, помимо Рощиной-Инсаровой, спектакли и в военные годы ставила ещё Мария Крыжановская, тоже бывшая мхатовка — из той же «качаловской группы».

*Р. Герра.* Греч и Павлова я не раз видел и слышал на русских концертах в Париже — они произвели на меня очень сильное впечатление прекрасной дикцией, — такую русскую речь я больше ни у кого не слышал. Как, кстати, и у другой бывшей мхатовки, Мотылёвой, второй жены Анненкова, с которой он расстался после войны. Так что по парижским масштабам, да ещё в условиях войны, театрално-музыкальная русская жизнь, можно сказать, была ключом. Зато жизнь литературная почти полностью заглохла, несмотря на то, что в октябре 1940 года инициативная группа в лице И. Д. Сургучёва, Н. Н. Брешко-Брешковского, Г. А. Мейера, Н. Д. Янчевского, А. И. Лабинского, В. И. Горянского, Г. М. Поземковского, А. А. Архангельского, Г. А. Пожедаева и Г. А. Лапшина учредила во Франции Объединение русских деятелей литературы и искусства с целью материальной поддержки творческих людей. Кроме выше названных, в правление вошли художники Ю. К. Арцыбушев, Александр Бенуа, М. С. Давыдова, Б. Князев, профессор С. Ю. Конюс, Ю. А. Кутырина, легендарная М. Ф. Кшесинская (княгиня Красинская), И. К. Мартыновский-Опишня, Н. Станюкович... В апреле 1941 Объединение устроило в зале Плейель вечер с участием молодых поэтов. Выступили А. А. Горская, Г. С. Евангулов, Н. Н. Евсеев, В. А. Мамченко, А. А. Попов, Н. В. Станюкович, В. А. Смоленский, Н. Н. Туроверов. Прозаик и художник А. А. Гефтер прочитал свой новый рассказ. А 9 августа 1941 года состоялся новый большой литературно-музыкальный вечер с участием А. Горской, М. Вега, Г. Евангулова, В. Смоленского, И. Сургучёва и Н. Туроверова. В следующем году, 24 октября, газета «Парижский вестник» и литературно-артистический отдел при Управлении делами русской эмиграции во Франции устроили в зале Шопена второй литературно-музыкальный вечер, на котором выступили поэты А. Горская, Г. Евангулов и В. Смоленский, оперные певцы Г. Поземковский, К. Кайданов и В. Яковлева. Как не отметить, что поэты В. Мамченко и М. Вега после Освобождения стали советскими патриотами...

*А. Ваксберг.* Прелюбопытнейшая информация, заставляющая на многое взглянуть совершенно иными глазами!

*Р. Герра.* И это ещё не все. Ведь ничего ещё не сказано о художниках. На вернисаже «Салона независимых» 14 марта 1941 были представлены Иван Бабий, Александр Гефтер, Элия Греков, Александр Зиновьев, Пётр Ино, Георгий Лапшин, Владимир Нешумов, Пётр Нилус, Георгий Черкесов и другие. На «Осеннем салоне», который открылся 4 октября 1941 года, участвовали П. Ино, В. Ле Кампион, З. Серебрякова, А. Экстер и другие, а год спустя «Осенний салон» сорок второго прошёл с участием, кроме названных, ещё и С. Полякова, И. Пуни, С. Судьбинина, К. Терешковича. Были



и персональные выставки Ивана Песке, Г. А. Пожедаева, Натальи Парэн (Челпановой), М. В. Воробьёвой-Стебельской (Маревны), Ивана Пуни... Боюсь, многих удивит не слишком афишируемая в нынешней России позиция Александра Бенуа, который во время оккупации весьма активно сотрудничал с немцами. Нравится – не нравится, но так было...

Не даю никаких комментариев, просто излагаю факты, которые, как мне кажется, отвечают на вопрос, что должен делать творческий человек в таких экстремальных условиях, как война и оккупация. Названные мною — их, как видите, много — одни вели себя так, другие иначе.

*А. Ваксберг.* Мне довелось однажды быть у Сергея Полякова. На стенах висели старые афиши, извещавшие о его выставках в разное время. Среди них моё внимание привлекла афиша персональной выставки то ли сорок второго, то ли сорок третьего года. Дата меня поразила, тем более, что отношение нацистов к цыганам, а к русским цыганам, казалось бы, в ещё большей мере, да к тому же ещё и к абстрактной живописи («вырожденчество», «уродливое искусство»), было хорошо известно. Поляков искренне удивился, когда я ему об этом напомнил. В сущности, не напомнил даже, а сообщил, поскольку, по его словам, ни о чём подобном он не ведал и впервые узнал эту «новость» от меня. Таков лишь один пример того, насколько стереотипное представление советского гражданина о жизни под оккупацией отличалось от реальности. Приведённый мною пример — он, действительно, какой-то исключительный или, напротив, вполне заурядный?

*Р. Герра.* По-моему, рассказав о том, как жили в Париже русские художники, музыканты, артисты во время оккупации, я уже ответил на ваш вопрос. Кстати, о цыганах: кабаре с цыганскими оркестрами и певцами не просто работали — процветали...

*А. Ваксберг.* Хорошо известно, какие драматичные последствия имело отнюдь не безупречное поведение под оккупантами многих французских деятелей культуры. За то, что, пусть и по-разному, но однако же недостойно они вели себя во время оккупации, из Национального Объединения писателей были исключены десятки литераторов, в том числе такие известные, как Луи-Фердинанд Селин, Жан Жионо, Пьер Бенуа, Поль Моран, Саша Гитри, Морис Вламинк, который был не только художником, но и писателем, и ещё многие другие. Причём судьями — назовём их так — были писатели такого уровня, что их коллективная, именно коллективная, предвзятость начисто исключалась: Мориак, Элюар, Шамсон, Роже Мартен дю Гар, Андре Мальро, Арагон, Пьер Сегерс, Сартр вместе с Симоной де Бовуар, Жан Кассу, Дюамель, Шарль Вильдрак, Жюль Бенда и ещё множество иных, столь же почтенных! Имело ли место нечто подобное по отношению к русским эмигрантам — как со стороны их соотечественников, так и со стороны французов?

*Р. Герра.* Имело, но главным образом на уровне личных отношений, а не каких-либо громких общественных акций. Громкие акции вызвал советский указ о возвращении гражданства, но об этом, видимо, речь впереди.

*А. Ваксберг.* Больше всего упрёков, мне кажется, было адресовано Георгию Иванову и Одоевцевой за их образ жизни в Биаррице, то есть сна-

чала в неоккупированной зоне, позже ставшей оккупированной. Прав ли я, по вашему мнению, полагая, что именно они, точнее, полемика, возникшая в связи с ними, привела к драматичному расколу эмиграции, чего не было до сорокового года, как бы ни кипели страсти вокруг политических и идеологических позиций того или другого крыла эмиграции? Я силюсь понять, чем так уж досадила эта супружеская пара своим коллегам и даже прежним друзьям? Вроде бы, никого не выдавали, никого не предавали, никому особенно не прислуживали... В чём, собственно, дело?

*Р. Герра.* Жизнь этой талантливейшей четы в военные годы слишком уж разительно отличалась от той, которую вели почти все их друзья и коллеги. Они уехали в Биарриц, будучи состоятельными людьми, имея там свой дом, и могли позволить себе, пока бомбёжка и воровство не уничтожили всё их достояние, вполне безбедную жизнь. Распространился слух, что они пребывали там в дружбе с немецкими офицерами, вели шикарную светскую жизнь, танцевали на балах и так далее. В своей очень содержательной, талантливо написанной книге о Георгии Иванове А. Арьев убедительно опроверг этот вымысел, тягчайшим образом отразившийся на послевоенной судьбе Иванова и Одоевцевой. В довершение ко всему Иванов стал печататься в «Советском патриоте» — послевоенной газете, название которой говорит само за себя, и вдрызг разругался со своим ближайшим другом Адамовичем (его работа «Конец Адамовича», опубликованная в журнале «Возрождение» в 1950 году, номер одиннадцать, воспринималась как пощёчина, независимо от того, насколько она была справедлива) за его просоветские позиции в первые послевоенные годы. В узком эмиграционном кругу всё это не могло остаться без последствий. Но вот свидетельство Веры Николаевны Буниной — человека безупречно честного и объективного. В письме к Зурову от 11 марта 1948 года она пишет: «Я очень рада, что пожила с ними (то есть с Георгием Ивановым и Одоевцевой, в Русском доме в Жуан-ле-Пен), иначе тоже осуждала бы их за то, чего они не делали».

Ужасающая бедность — немыслимый контраст с предыдущими этапами жизни — была слишком суровым наказанием для этих двух поэтов первой величины. Их приютил под конец жизни Иванова не благоустроенный «старческий» дом для русских эмигрантов, каких было немало и о которых я писал недавно («Новый журнал», 2008, № 253) как о явлении достойном и уникальном. Нет, им пришлось переехать из Парижа в Йер (департамент Вар, под Тулоном) в «интернациональный» дом «Босежур», что по злой иронии судьбы переводится как «Красивое место». Этот «Босежур», нечто вроде богадельни, а попросту ночлежка для нищих и убогих, оказался для них адом, где они пребывали в обществе других обитателей, главным образом, «красных» испанских беженцев. Горькая судьба!

В этой связи я не могу не вспомнить о благороднейшей акции, которая объединила выдающихся представителей русской эмигрантской культуры, уже разделённых к тому времени приверженностью к разным политическим и идейным позициям. Хранящийся у меня его автограф был опубликован в каталоге выставки работ из моего собрания, состоявшейся в Третья-

ковской галерее в 1995 году. Это воззвание о помощи бедствовавшему Георгию Иванову является, на мой взгляд, одним из самых ярких проявлений творческого единения русской эмиграции первой волны, забывавшей о всех своих разногласиях, когда речь шла о самом существовании товарища по профессии и судьбе. Вот его текст, под которым подписались И. Бунин, Б. Зайцев, А. Ремизов, Н. Тэффи, А. Бенуа, С. Маковский, А. Керенский, Ю. Одарченко, Б. Кохно, С. Шаршун, К. Терешкович, Н. Оболенский, Н. Вырубов и другие: «Ниже подписавшиеся друзья и почитатели поэта Георгия Иванова, находящегося временно в очень тяжёлых материальных условиях, обращаются к русским людям с просьбой оказать ему помощь. Мы считаем, что помощь Георгию Иванову — общее дело русской эмиграции. Георгий Иванов не только большой поэт, но он ещё единственный и последний представитель „Серебряного Века“ русской поэзии. Кроме него осталась в живых одна только Анна Ахматова. Всех остальных постигла так или иначе преждевременная смерть. Они все как бы подтверждают слова Волошина: „Страшен жребий русского поэта“. Мы, русские люди, сохранившие духовную независимость, считаем своим долгом постараться защитить Георгия Иванова от этого „страшного жребия“, протянув ему, пока ещё не поздно, руку помощи. Талант Георгия Иванова находится в зените своего расцвета, но нужда и болезнь не только мешают ему выявляться в полной мере, но грозят самой жизни поэта».

*А. Ваксберг.* Насчёт продажности немцам или прямого сотрудничества с оккупантами — тут, по-моему, всё ясно. Но, отвергнув это несправедливое обвинение, точку всё же ставить рано. Сегодняшний холодный анализ историка не может заменить тех чувств, которые испытывали непосредственные участники событий. Не знаю, позволительна ли та аналогия, к которой я прибегну. Мне, например, приходится читать немало сегодняшних исторических исследований, возвращающих нас к сталинской эпохе. Нередко нынешние авторы — довольно убедительно, как им кажется, — доказывают чрезмерность тех или иных оценок различных событий того времени: не всё, мол, было так ужасно и беспросветно, некоторые страхи сильно преувеличены, и всякое такое, в том же духе. Мне могут привести тысячи очень серьёзных доводов и доказательств, — они для меня буквально ничего не стоят, потому что я все эти события пережил лично, ощутил их на своей шкуре, я их чувствовал и продолжаю чувствовать каждой клеточкой тела. Никакой хладнокровный анализ заменить эти ощущения не в состоянии. Поэтому я хорошо понимаю тех современников, которые оценивали своих товарищей по несчастью, исходя из тогдашних, а не нынешних критериев.

Я не случайно употребил выражение «образ жизни», а не «поведение», поскольку это разные вещи. Именно образ жизни Ивановых в Биаррице вызвал у многих эмигрантов, в том числе у их недавних друзей, негативную реакцию. Мягко сказать: «негативную»... Эти вечера за картёжным столом, попавшие в светскую хронику региональной печати, — наверняка под шампанское и гусиную печёнку, — как они должны были выглядеть в глазах тех, кто уже испытал, пусть ещё и не самые страшные, пусть только первые, ужа-

сы оккупации? Не столько даже материальные, сколько моральные... Поэтому самую точную, самую адекватную оценку этого явления я нахожу в хорошо известном письме Марка Алданова Георгию Иванову, где он честно и беспощадно расставил все акценты. Что не помешало ему, кстати, принять самое живое участие в различных мероприятиях по оказанию финансовой помощи бедствовавшим Иванову и Одоевцевой: ярчайший пример моральной непреклонности в сочетании с гуманизмом и состраданием. Что до моего личного отношения к тому эпизоду ивановской биографии, то оно однозначно: глубочайшее сочувствие. Так безжалостная судьба корёжила людей, ставя перед ними нерешаемые задачи и вынуждая их порой вести себя не по законам нравственного императива. Печально, но не удивительно.

*Р. Герра.* Я вам так скажу, хотя, наверно, о таких проблемах можно спорить до бесконечности. Очень легко рассуждать, как надо было себя вести, как не надо, что хорошо, что плохо, — рассуждать об этом полвека спустя, глядя на те события из двадцать первого столетия и сидя в уютном парижском доме или в не менее уютном московском. Пусть даже не из двадцать первого столетия, а из шестидесятых-семидесятых годов. Внеисторичность нравственных оценок, полное забвение того, когда, в каких условиях происходили те или иные события, меня удивляют и удручают. Лишь тот, кто сам прошёл через все те испытания, которые выпали на долю критикуемых, имеет право на бескомпромиссное суждение. Вне исторического контекста оно абсурдно.

*А. Ваксберг.* Тут я полностью согласен с вами. Не знаю, сколь правомерна аналогия, но мне кажутся такой же нелепостью, если не выбирать более точные и более сильные выражения, голоса моралистов-максималистов, осуждающих, скажем, жертвы сталинских репрессий за то, что они признавались в несовершенных преступлениях, не проявили принципиальности, стойкости, непреклонности и прочее, прочее... Читая и слушая такое, — в моём архиве хранится немало подобных писем, — мне всегда хочется воскликнуть: как жаль, что вы сами ничего подобного не испытали!